

Гроза

Столичный вечер. Грозовая панорама.
Таксист таксиста оскорбляет: «я твой мама»...
(Гром заглушает половину фразы,
ай, что там скажет выходец с Кавказа)...

Кругом стемнело. Хлобыснёт определённо.
Гляди, серьёзно ветер принялся за клёны:
кидает их направо и налево.
Галопом скачут офисные девы.

В метро бежит толпа под вспышки синих молний,
теряя портмоне и бегунки от молний.
В стекле хайтека стали много круче,
куда страшнее, чем в реале тучи.

Сквозь воздух движется волна огромной силы.
Ещё немного, чуть, ну всё, копец, накрыло...

А вон стоят два мужика у гастронома.
Перетирают за друзей, за песни НОМа.
Им ливень тёплый, как горох по барабану,
таким большущим, лысым, розовым и пьяным...

Напишите, милые, о Москве

на старинных, стёршихся петлях шкаф,
(временной меняющийся портал),
говорят, все ищут на Плетешках,
чтоб попасть в Москву, о какой мечтал.

а Москва – давно уже не Москва...
этот город, выцветший от жары,
у торговца где-то сидит в мозгах
между вкусом фенхеля и зиры.

африкански-жёлтый сухой газон,
возле баков – брошенный самокат,
небоскрёбы в мареве – там – Гудзон,
завернёшь за фруктами – Самарканд.

я Москву во времени растерял,
и куда бы мне ни пришлось идти:
где была пельменная – ресторан,
а на месте булочной – стал «интим».

но пока не съехала жизнь в кювет,
от забот пока не заглох мотор,
напишите, милые, о Москве –
те, кто помнит прежнюю до сих пор.

слишком много дыма, смертей, сирен
и жара – с неделю не пьёт Костян,
а мне снится, будто цветёт сирень...
и над нею, в белых свечах – каштан...

Село

ни коровы теперь, ни машины,
только надпись: совхоз «Большевик».
всё опутал горошек мышинный,
захватил все поля борщевик.

а из тех, кто вколачивал гвозди,
строил ферму и сельский уют,
половина – уже на погосте,
остальные – пока ещё – пьют.

так похожа на символ разрухи
близ колодца худая байда.
не маши пролетающей мухе
красной лапкой своей – лебеда.

даже в храм за песчаной губою,
что красуется лет эдак – сто,
городские – на праздник – гурьбою,
а из местных обычно – никто.

и рассказывал прапорщик с дачи,
как, из храмовой выйдя стены,
у воды кто-то встанет и плачет
в сердцевине ночной тишины.

Свиристели

Был тогда январь калёный, лютый.
Грохотали крышами метели.
Но случались тихие минуты:
Так однажды в полдень свиристели

Во дворе у нас возникли разом.
Тонкой речью, болтовнёй невинной,
Будто сладковатым сонным газом,
Затопив шиповник и рябины.
Нет, не свиристели, а сирены.
Песни их меняют всё на свете.
Кот взлетел сквозь заросли сирени,
Поднялись на воздух санки, дети.

Не в картине доброго Шагала –
В озере мохнатого наркоза.
Под ногами глубина шаталась,
Серебрились в глубине стрекозы.

Ух... и сорвалось... исчезли птицы.
Хлебников, наверно, где-то свистнул.
Всё как прежде, снег по всем границам.
Только нежный звон в морозной выси.

Попытка этюда

Зима – идеал композиций.
В ней краткость, пространство и воля.
Как чётко рассыпаны птицы
По ровному, белому полю!

Как точно расставлены дети,
И мамы расставлены с ними!
«Там скользко, не лезь туда, Петя»!
«Пойдём-ка мы к бабушке, Дима».

А может, и вправду не трудно,
Враз, набело и без помарки,
С натуры списать это чудо –
Январское, жгучее, яркое...

С деревьями – снежными люстрами,
С гирляндами, с запахом пиццы.
И с тем, что не видишь, но чувствуешь –
В мерцаниях, в снах, в композициях...

Мистерия вкуса

Я помню как в жару, ещё мальчишкой,
Я не спешил идти домой к столу.
Но пробовал смолу нагретой вишни
И сливы красноватую смолу,

Что на ветвях подтёками нависла.
Мне нравилось. Казалось, ешь закат.
Не сладко, не солёно и не кисло,
Но этот цвет, но этот аромат!

Ещё такое было через годы.
Я пил из родника. Мне стало жаль.
Мне захотелось пить совсем не воду,
А синюю таинственную даль.

Из тишины, настоящей над полем,
Где только чьё-то звонкое "пить-пить",
Холодную и сладостную волю
Бесстрашными глотками пить и пить.

Я вскоре понял. Средь жары и стыни
Я ощутил судьбу. Ни крест, ни груз.
Она была похлёбкой из полыни –
Совсем простой, но благородный вкус.